

РЕЕСТРИК БЫТИЯ

От эпоса Пушкина к эпосу Бродского

Челябинский газ. - 1993 - 29 сент. - с. 7

Дмитрий Бавильский
(Челябинск)

Росчерк

СВЯТО МЕСТО ПУСТО НЕ БЫВАЕТ

ПОЭТ всегда приходит на пустое место. Есть, конечно, опыт предшественников, опыт «хоровой поддержки» (Бахтин), но это относится, скорее, к техническому аспекту стихописания. Есть и опыт учения у различных философов или философских систем. Но это, так сказать, предварительный опыт, необходимый для отталкивания, некая точка отсчета. Писание стихов — акт прежде всего экзистенциальный. Поэт/человек занимается разрешением собственных проблем. Творческий процесс здесь — акт познания, самопознания, разрешения гносеологических проблем, то есть самоцель.

А стихотворение — продукт побочный, вовсе не обязательный (ведь может и не выйти, остаться на уровне творческой лаборатории, не выйти из состояния черновика). Так, творческий процесс, процесс писания можно определить как самоцель. Тогда и становится понятным, почему поэт всегда приходит на пустое место — в этом он похож на каждого из нас, на любого другого, находящегося в пути. Пройти самому. И только так. Методом проб и ошибок: своих проб и своих ошибок, своего осознания, осмысления. И вряд ли здесь может понадобиться чужая помощь — «достигается потом и опытом/безотчетного неба игра».

Но пустое место имманентным самому себе не бывает. Каждый потихонечку, помаленечку начинает это «свое» место обживать, завоевывать, подчинять себе, завоеывая все новые и новые пространства. Хайдеггер: «мышление — вхождение в близость дальнего». А обживание, в свою очередь, связано с названием. Хайдеггер: «но точно ли установлено, что все неназванное существует?» Необходимо обставить свой мир миром предметов и миром вещей (миром понятий), защититься тем самым от поглощающей силы горизонта. В пустом месте, при отсутствии предметов (понятий) его сила самодовлеющая, преобладающая. Далее, по мере заполнения, представляя возможность движения/приближения к себе. Хайдеггер: «мне кажется, что в то время, как его сущность приближается, горизонт (край) еще дальше от нас, чем когда-либо». Отдаление горизонта и есть приближение к нему — в этом и заключается суть творческого процесса, хотя не только его, основанного на мышлении (то есть постижении), то есть на вхождении в близость дальнего.

Любое значительное явление литературы, выходящее за рамки одной («все остальное — литература»), дает нам яркие примеры перечислительной интонации, овеещающей пустоту, заполняющую ее предметами, и понятиями, и людьми.

Евангелие от Матфея начинается с родословной Иисуса Христа «Сына Давидова, Сына Авраамова» («Авраам родил Исаака, Исаак родил Иакова, Иаков родил Иуду и братьев его...»). «Илиада» начинается со «списка кораблей» («Рать беотийских мужей приводили на бой воеводы: Аркесилай и Леит, Пенелей, Профоснор и Клоний...»). Если брат перечислительную интонацию в более широком смысле, то практически вся литература оказывается перечислением, каталогизацией мира. Ведь, в самом деле, что такое «Одиссея», как не перечень приключений хитроумного Улисса, что такое «Божественная комедия», как не список феноменов, находящихся внутри пресловутых кругов? В перечислительную интонацию легко попадают романы воспитания и романы дороги: линейное повествование, линейное рассказывание истории разве не есть каталогизация событий, и разве нельзя большинство романов назвать самоценными реестрами бытия (да и истории эти, как правило, из того же списка, перечня сюжетов и ситуаций. Как здесь не вспомнить Борхеса)? В нашем случае речь идет о Поэтах, ставших для своих эпох формообразующим началом. Конечно, Пушкин — «наше все», здесь спорить не о чем. Сложнее с Бродским.

Он — наш современник (как это ни странно). Однако очевидно уже сейчас: влияние Бродского на формирование новой ментальности, рождающейся на наших глазах, выходит только за рамки литературы. Рефлексия экзистенциально неблагополучного современного человека, пытающегося стать отдельным индивидуумом, существующим в режиме «одиночного плавания»; человека, идущего на разрыв с государством во имя частного, приватного существования (Бродский в интервью: «Просто быть самим собой, частным человеком»). Нерв эпохи — переориентация ценностей шкалы с коллективных (классовых), групповых на частные, индивидуалистические приоритеты. И Бродский, с его опытом преодоления шестидесятилетия и всех сопутствующих этому комплексов советского (имперского) человека, является здесь примером на

уровне биографии, учителем на уровне экзистенциального опыта, сосредоточенного в том числе и в его поэтических текстах. Хайдеггер: «Поэт именует Богов и именует вещи в том, что они суть. Это наименование состоит не в том, чтобы снабдить именем что до него известно, но тем, что поэт произносит существенное слово. Благодаря этому сущее впервые возводится к тому, что оно есть. Так оно становится известным как Сущее. Поэзия есть установление бытия посредством слова».

КУДА Ж НАМ ПЛЫТЬ?

О ВАЖНОСТИ перечислительной интонации очень точно написал Абрам Терц в «Прогулках с Пушкиным»: «Действительность измерялась списками воспитанных вещей... Зачем это было нужно — толком никто не знал, и меньше других — Пушкин, лучше других почувствовавший потребность перекладывать окружающую жизнь в стихи. Он поступал так же, как тунгус, не задумываясь левший про встречное дерево... или зайца. В его текстах — радость простого названия вещи, обращаемой в поэзию только одним магическим окликом. Не потому ли многие строфы

ивается, обживается, заполняется, здесь еще не тесно, напротив, можно долго блуждать в лабиринтах терминов, отыскивая все новые и новые сочетания привычного, повседневного.

Но дальше-то что?

Поэт вступает в пору зрелости, а значит, и полосу гносеологического кризиса.

Увлечение коллекционированием ни для кого не проходит бесследно — материальное, материя связывает своего владельца по рукам и ногам. Распухшие от записей гроссбухи с бесконечными перечнями загораживают путь «к спасению души», ибо известно, что «блаженны нищие духом».

Автор сам слышал (по радио) рассуждение о том, что, чтобы вступить в себя Бога, Дух, необходимо освободить для него место. Человек заставляет свою квартиру, свой горизонт сотнями тысяч самых необходимых и самых бесполезных вещей — как же протиснуться сквозь все эти загромождения Откровению?! Вполне допустимая аналогия для того, чтобы объяснить произошедшее со многими из нас. И рад бы уже, да... не пускает, не дает не то что взлететь — поднять голову и по-



Коллаж Марка Железняк

смаивают у него на каталог — по самым популярным тогда отраслям и статьям? Пафос количества и поименное регистрирование мира сближало Пушкина с адрес-календарем, с телефонной книгой по-нынешнему, подвинувшей Белинского извлечь из «Евгения Онегина» целую энциклопедию. Блестящее, но поверхностное царское образование, широкий круг знакомств и человеческих интересов помогли составить ему универсальный указатель, включавший все, что Пушкин видел или читал. Будь Пушкин более ученым или методичным, мы бы застряли на первой букве алфавита. По счастью, «мы все учились понемногу», что в сочетании с легкостью нрава сообщало его таблицам характер небрежной эскизности и скольжения по верхам. Перечень своего достояния производится по стандарту зафиксированной из окна мчащейся кареты картины... Взамен описания жизни он приготовил ее поголовную перепись... Он не стеснялся делать реестры из сведений, до него считавшихся банальными, чтобы в неприбранном виде входить в литературу. При всей разносторонности взглядов, у Пушкина была слабость к тому, что близко лежит. Вселенский размах не мешал ему при каждом шаге отдавать предпочтение расположенной под боком букашке... как Плюшкин, просящийся имение в трудах по собиранию мусора. Впервые у нас крохоборческое искусство детали раздулось в размеры эпоса.

Точнее про Пушкина уже не скажешь.

НОВЫЙ ОРФЕЙ

НО ПОХОЖЕЙ оказывается и ситуация с Бродским, подвергнутым тем же магиям и наклонностям. Именно из «крохоборческого искусства» и родилась неповторимая бродская интонация, *бродскость*, гениальная по простоте и простая, как все гениальное. Возьмем любое его повествование и, о чем бы оно ни было, с легкостью убедимся, что это прежде всего — перечислительная интонация, в том или ином виде. Бродским вновь и вновь овладевает энтузиазм первооткрывателя/назвателя. Апофеозом подобной тенденции явился «Большая элегия Джонну Донну».

Каждый крупный поэт заслоняет своим современником горизонт, потому что открывается то, что давно лежало на поверхности, что давно вызрело. Современники закатывают глаза и ломают руки: «В самом деле, так просто! И как мы раньше этого не замечали!» Но поздно: есть Бродский, построивший на этом минимальном художественном усилии свою эстетику. Это и есть высшее мастерство. И первородство, позволяющее создать новый, современный эпос. В соответствии с духом эпохи это будет уже не опыт отдельного народа, зафиксированный в стихах, как это бывало раньше, но эпос отдельного человека. Отдельного Бродского.

Судя по имеющимся у нас текстам, перечислительная интонация/стихия завладела Поэтом с самого начала, то есть была совершенно естественным, не извне привнесенным. С самых первых стихов, попавших в сборники, он именует окружающий мир с «хозяйской заваской Петра».

Период первоначального накопления, как правило, совпадает с физическим и интеллектуальным мужанием. Мир только осва-

смотреть на небо. Как та могучая птица в «Осеннем крике ястреба». Как сказал бы Кальпиди — «все! Законструировали!» Как сказали бы звери из мультфильма про Козлика: «Он и тебя посчитал». Ибо любой процесс, как мы, воспитанные на марксистской диалектике, знаем, амбивалентен, каждая медаль имеет две стороны.

И здесь мы сталкиваемся с проблематикой Кьеркегора, подробно рассмотренной Львом Шестовым, любимым философом Бродского: знание порочно. Оно не приближает нас к Богу, но, против того, отдаляет (проблематика расширяющихся горизонтов, подхваченная потом на новом уровне Хайдеггером). Мы обязаны познавать, потому что жизнь — движение, и тем не менее... Мы обречены, включает Шестов, дрейфовать от «профессора философии» Гегеля с его всеобщей разумностью и системностью к «частному философу Иову», чьей прерогативой является Абсурд. Этим путем идет и Бродский. Гносеологический кризис заводит его в такую пучину отчаяния, в такие бездны, что нет уже ни проблеска, ни шанса на спасение. Влияние негативиста Шестова здесь прямое и непосредственное.

Тут, кстати, и намечаются отличия. Пушкин оказывается в более выгодном положении: ему не пришлось жить в XX веке. Да и к слепой вере Бродский оказывается не готов, да и, скорее всего, как современный человек не способен.

В творчестве позднего Бродского вещи, в Большой Элегии еще голые, обрастают, как корабль ракушками, попутными смыслами, инерцией целой жизни, пройденного пути, их становится меньше, перечисления нивелируются, становятся менее заметными, они имеют меньшую амплитуду, зато подобно кругам на воде расходятся все шире и шире.

Бродский не отказывается от своей излюбленной манеры строить тексты на перечислительной интонации, эпос продолжает развиваться, полностью от этого отказаться уже нельзя, но он несколько видоизменяет прием, растворяя его в одеждах признаков и примечаний.

По-ребячески связанный с миром, он слишком привязан, чисто по-человечески (а ничто человеческое не чуждо даже нобелевским героям, скорее наоборот) привязан к его реалиям. Которые и создают энергию торжества — слишком дороги человеку окружающие его, поименованные им лично феномены. И слишком много у него с ними связано, чтобы выбрасывать на помойку сознания или складывать на чердак памяти, отказаться от этого. Разве что — через лоботомию!

Этой мелочи может хватить ненадолго.

Сгача лучше хрустальной

кутюры, перила — лестниц.

Брезгуя шелковой кожей, сегая

холка

оставляет вообще далеко

наездниц.

Настоящее странствие, милая

амазонка,

начинается раньше,

чем скринула половица,

потому что губы смягчают

линию горизонта,

и путешественнику негде

остановиться.